

НИКОЛАЙ КОЛМОГОРОВ
«И ПЕСНЕ ПЛЫТЬ, И СЕРДЦУ МЛЕТЬ...»

// Огни Кузбасса. – 2001. – № 1. – С. 157-160.

// Кузнецкий край. – 1996. – 20 апр. – С. 3 (в сокращении).

Жизнь и судьба Владимира Поташова, чья строчка вынесена в заголовок, менее известна любителям стихов, чем его творчество. В смысле биографических данных поэт этот не перешагнул даже четырёх десятков лет. Судьба его в чём-то созвучна и такому далёкому от нас Франсуа Виньону, и более близкому к нам Николаю Рубцову.

Поташов родился перед самой Великой Отечественной войной, ещё малым ребёнком потерял родителей, воспитывался в детском доме, как и Николай Рубцов, воинскую службу проходил на морфлоте и даже почти в тех же местах. Как и его старший собрат по перу, всю дальнейшую жизнь не имел ни угла, ни пристанища, одевался во что Бог пошлёт, питался от куска к куску... Жизнь раздвоилась: один поток нёс его через весь человеческий сброд, другой – светлый – омывал и очищал радостью общения с литературой. Как легендарный Франсуа Виньон, жизнью своей он дорожил только тогда, когда перед ним лежали чистая бумага и карандаш.

*Не избегаю слов потёртых,
Простых, измученных, неновых.
На тех словах кровоподтёки
Всего бывшего...*

Судьба мотала и трепала его по всем ухабам, но никогда он не плакался на эту благодатную для иного литератора тему, если вспомнить, сколько «гениев» разных мастей в прошлые и нынешние годы било себя в грудь в поисках быстрого заработка на «блатной» тематике. Образовался даже целый пласт литературных и бардовских поделок, чуть ли не романтизирующих лагерное инобытие. И когда мы читаем и слушаем всё это, мало кому придёт в голову, что сами литературные и песенные кумиры часто абсолютно далеки от тех запутанных человеческих судеб, на которых делают лёгкие деньги! Впрочем, каждому своё.

*Пусть тяжело от злых правдишек,
Что бьют с ухмылкой под дых, –
В тебе ж ниспосланная свыше
Одна, святая из святых.
Беру ту правду за основу,
Всего, что мне предложит рок.
Пускай суровым будет слово
И трудным будет мой кусок.*

Так заявлял Владимир Поташов, когда серединой своей короткой изломанной жизни выбирал между окончательным падением во мрак и хрупкой надеждой на будущее. Прозябание в детском доме голодной послевоенной поры сделало его настороженным, недоверчивым к людям. Что уж тут говорить о более поздних мытарствах! Но от земли произошедший, русской деревней вынянченный, он и любил эту землю и деревню глубоко по-земному, что, впрочем, вполне закономерно.

*Мне рук не мыть в крови лебяжьей,
Мне колос разминать в горсти.
И на краю могилы влажной
Сказать последнее прости.
И душу, живу и повинну,
И тяжкую свою любовь –
Они твои от крови кровь –
Сложить к ногам как должно сыну.*

.....
*К земле прислушаюсь: гудит.
Войду в хлеба неяркие.
Вот одинокая стоит
Сосна, и ворон каркает.
Сузёмые мои поля...
Кому пойду пожалуюсь –
Здесь от отцовского жилья
Щебёнки не осталось.
Но здесь мне жить и помереть,
Лежать в недалней рощице...
А чёрну ворону лететь
Куда ему захочется.*

В свете последних строк как не вспомнить традицию русских сказок, былин и песен о чёрном вороне, который то вьётся над головой, то летит от села к селу, от города к городу уже не один век. Эта вещая птица летит и через пушкинские стихи, и через блоковские – вплоть до наших дней и дальше – в дни будущие... Этот образ – как бы образ самой судьбы, образ неизбежности. Именно ощущением неизбежности дышит пространство нашей истории, вся сущность и уклад многотерпеливой российской жизни, её духа.

Владимира Поташова открыл Георгий Евсеев – заслуженный артист России, сам необыкновенно интересный и яркий человек, память о котором не сотрётся в сердцах тех, кто его знал... Квартира Евсеевых в любое время суток привечала всякого, кто приходил сюда с чистыми помыслами и добрыми устремлениями. Так вот, в начале семидесятых на одной из мальчишеских «посиделок» появился довольно высокий худощавый парень, который не сразу, но прочно вписался в нашу молодую полуночную

компанию, спорившую то о постройке общего дома где-то аж в Туве, то о религии, то о вейниях в литературе и театре. Наш новый знакомый больше молчал, чем говорил, пил крепчайший «евсеевский» чай, курил папиросы, иногда глухо покашливал в костистый кулак. Мы уже знали, что работает он в кемеровской «драме» не то рабочим сцены, не то помощником осветителя. Георгий Александрович, выбрав момент, попросил его почитать свои стихи. Парень не стал ломаться и прочитал:

*Моё начало не с окраин,
Где вечный лист и вечный лёд.
Я рос, где ивушка печальная
Из тихой речки воду пьёт...
Я весь оттуда. Там зачатые,
Купель моя и колыбель.
И вся печаль моя, и счастье,
Беда и радость, боль и хмель.*

Читал он чуть глуховато и немного в нос, читал ещё и ещё, и никто не перебивал его, а яркий свет кухни, где мы сидели, лишь подчёркивал бледность впалых щёк читавшего. Некоторые прозвучавшие стихи страдали длиннотами, неточными сравнениями и рифмами. И когда мы со свойственной молодости категоричностью стали говорить обо всём этом, новый наш коллега внимательно слушал и, пожалуй, даже иногда соглашался: критиковали-то ведь не случайные люди! Но ясно чувствовалось, что цену он себе знает и готов постоять за каждую строчку, какая бы она неказистая ни была... После он рассказал немного о себе. Родом он был из средней России, с берегов тихой, обмелевшей за многие века Псковы. Как судьба занесла его в Сибирь – о том он не говорил, но спустя несколько лет после той памятной ночи так написал о родной Псковщине:

*Сторона моя горькая, мать опальная,
Всё приемлю, что есть
И что было когда-то:
Колыбельную песню, и речь повивальную,
И призывную медь вечаевого набата!..*

В стихах этих мне и до сих пор слышится не только признание в сыновней любви, но и память о древней новгородской и псковской вольнице, о свободолюбивых своих предках, долгое историческое время не признававших никакой власти над собой, кроме Божьей. И хотя самую значительную часть своей сознательной жизни поэт провёл среди наших сибирских снегов и просторов, многие его стихи обращены именно к «малой» родине, к её просветлённому облику: будь то среднерусская природа, воспоминания о деревне, о её зримых приметах и людях.

Встреч и разговоров с Владимиром Поташовым у меня было достаточно, они запомнились ещё и тем, что человек этот, прошедший такие «университеты», никогда даже не проронил матерного слова! Из этой,

мрачной стороны своего бытия он вынес много жестоких впечатлений и воспоминаний, однако не дал себя нравственно исковеркать. В самые последние годы всё чаще и чаще обитал он по больницам: лагерный туберкулёз делал своё непоправимое дело... Жалел ли он, тридцатипятилетний, о совершённых ошибках, пытался ли заглянуть в будущее?.. Было, наверное, и то, и другое. Как поэт он всё более и более подавлял мелкое и ничтожное в себе, всё более и более обретал цельность и твёрдость:

*Когда незрелые с ветвей
Плоды срываются – и к низу,
Когда последний воробей
К сухому лепится карнизу,
Мне время самое вздохнуть,
Рванув скрипучую фрамугу,
Пока ни скальпелем, ни плугом
Мою не развернули грудь...*

Предчувствие неизбежного заставляло его спешить. Он наконец-то жил надеждой на лучшую долю: собрал рукопись первой своей книги, много работал над неоконченными ещё стихами и поэмой. Есть в его последних работах и горестный вздох, и даже некий громкий упрёк матери земле: «Отчизна, горестью какой Меня одаришь напоследок?». Но осознание неизбежного уравнивает вздрогнувшую, всколыхнувшуюся душу, шадящий покров смирения тихо ложится на мысли и чувства, и мы видим уже не надрыв, не взгляд исподлобья на шумящую и жадную до перемен жизнь, но только некую извечную умиротворённость, столь знакомую смертному человеку, когда он вдруг проникся светлейшим дыханием вечной истины:

*Сгребём ведильё в огороде,
Зажжём, посидим на меже.
Как тихо, как сиро в природе, –
Но это и нужно душе.
Горит моя поздняя роца,
Ссыпает листья в огород.
Что может быть чище и проще,
Чем этот извечный отход?..*

Долгое время никак у него не складывалось с делами издательскими. Его поддерживали, давали рекомендации на издание первой книжки... Но в одном случае он опять канул в какую-то свою очередную биографическую неизвестность, и поэтому его книга так и не появилась, а в другом – выкинули из издательских планов после звонка из идеологического отдела тогдашнего обкома партии по причине известной: зачем печатать неблагонадёжного? А вдруг он опять сядет, и сраму тогда не оберёшься... Лишь в самом конце семидесятых удалось отстоять право на издание его

первой многострадальной книжки, которая, впрочем, вышла уже посмертно и называлась «По небу птичья клинопись...».

Все мы, за некоторыми исключениями, вышли к читателю кто под тридцать, а кто и более лет. Это горько, если учесть, что теперь молодых едва ли не на руках носят. И опять по-обывательски в чём-то развращают юные души, лепят и выпекают массовых вундеркиндов. Всё напоминает очень знакомую ситуацию: тогда, при «застое», целыми классами принимали в октябрята и пионеры, а теперь – в юные дарования! Будет ли какой-нибудь прок от этого, я не знаю. Но знаю, что стебелёк, выращенный в уютной теплице, далеко не всегда выдерживает грозные ветра жизни. В то же время истинные таланты, как правило, судьбами своими и творчеством всегда доказывали, что возрастили они не на тепличных грядках и не под снисходительные аплодисменты взрослых дядей и тётей.

*... Я дубы корчевал,
я скалы в щебёнку дробил,
Я старателем был и ваятелем был,
и воителем.
Только отчую землю, видимо,
странной любовью любил,
Потому как по ней, по родимой,
прошёл победителем.
И вот снова птицы
прилетели издалека.
И чистые, как слёзы прозрения,
Облака проплывали,
и я сказал: «Облака...»
И деревья вытянулись
стройные на удивление.*

О «странной» любви к Отчизне Михаил Юрьевич Лермонтов пророчески молвил. И если вдуматься глубже, почему же эта любовь странная, то придёшь к выводу, что ничего странного здесь нет. Ведь понятие «странный» может в себе заключать и другое: страна, сторона, странник! Странная любовь – значит, очень обширная, необычная и неохватная, как само пространство России. Вспомним и цветаевское: «Москва! Какой огромный странноприимный дом!..» Здесь Россия и Москва – суть одно и то же, принимающее в себя всякого со стороны, из страны приходящего, то есть странника. Поэт – тот же странник с почти невесомым имуществом, запечатлённым на страницах книг, в песнях, в легендах, в памяти. И даже если он уже и сам стал дымкой былого, всё равно его путь, его отяжелевший усталый след влечёт и влечёт к себе наше зрение:

*Дорога через жито
И чибисовый лёт.
А вон стоит ракита
И будто слёзы льёт.*

*И я на поле этом
С мокринкою у глаз:
Всё пето-перепето,
А будто в первый раз.
И так рыдать хотелось,
Да вот не привелось.
Но плакалось, но пелось
И Родиной звалось.*

О страннике и поэте, теперь уже неотделимом от всех нас и от русской сибирской поэзии, о товарище нашем Владимире Поташове мне и хотелось сказать здесь.